

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Проза Юлии Кокошко хорошо известна на Урале. Ее произведения публиковались в литературно-художественных журналах «Урал», «Уральская новь», «Комментарии», «Золотой век» и др. В 1995 г. в издательстве «Сфера» вышла в свет ее книга «В садах», удостоенная всероссийской литературной премии им. Андрея Белого. В 2000 г. в Челябинске была издана книга «Приближение к ненаписанному», а в 2003 г. – третья книга прозы «Совершенные лжесвидетельства».

Рассказ «Дорога, подписанные шаги и голоса» открывает новые грани дарования писательницы как мастера метафоры, тонкого стилиста, виртуозно владеющего образным потенциалом русского языка. Отправимся же вместе с автором в путешествие из пункта А в пункт Б. И пусть мы не доберемся до пункта назначения, нам предстоит увидеть знакомое и незнакомое, узнаваемое и неузнаваемое, близкое и далекое, отталкивающее и притягательное – все это встречается на вечно влекущей, но не оправдывающей наши ожидания дороге жизни.

Н. А. Купина

Юлия Кокошко

ДОРОГА, ПОДПИСАННЫЕ ШАГИ И ГОЛОСА

Фрагмент повести

Аркадию Буриштейну

Дорога из пункта А в пункт Б должна быть убедительна, как легенда – для того, кто скрыл свое буднее я, а имена улиц и здания символичны – лишь в этом плане удастся дочертить ее до назначенной. Направление произвольно, поскольку не имеет иного значения – кроме символического. Уточнять ли, что сочинитель тернистого пути из А в ускользящее Б – до последней препоны протянул от стойки, которую сделал сам?

Чтобы не затемнять условия, можно вычесть противоположную сторону,

сгладив ее – муниципальными лошадиными силами минус регулярные пиковые площадки поклонников, и кто-то исконный – издалека и налетая, сгущая, сворачивая каблук и отсыпая часть добычи – на волю, чтоб в итоге поспеть – к сомкнувшейся двери и черной кислоте из-под умаляющейся кормы... Итого: дорога бурлит, и возвратная полоса – почти туман. Очередное доказательство, что пути назад не существует.

Конечно, пункт Б был заявлен не совсем однозначно. Посему дорога, будучи калорийна указателями, отнюдь не всегда приводит в Б. Что, возможно, не погрешность ее, но – достоинство: к чему натекать на тот же истерзанный предел?

Университетский корпус, факультеты математики и истории: завалив классическую колоннаду, еще шесть молодцеватых уровней, окна тождественны – не по любви, но по расчету.

Выше по улице – некоторые жилые дома, один в стиле конструктивизм – меж половинами здания длятся препирательства в пять и в семь этажей... Великий другой – самодур: эксплуатация каменных излишеств – уточнения сбиваются в шайки диптихов и триптихов, балконы-трапеции в суперобложках для фигурного сбора горшков и постановка шпилей...

Еще выше – пронизываемый оку этаж с планетарным фронтом гастрономии, не совместным с жизнью.

Редакции и издательства, встающие друг на друга до самой крыши.

Аптека с поплеывающей яды элегантно змеей.

Уличный рынок, отзывающий Флору из снов о дороге, чтоб дарить ей свою любовь – на прицепах, лотках, столах, бочках и в погребках, и в тайных ходах беспозвоночных и мифах...

Взятие поверхностного, но бурного перекрестка, чьи светофоры изменяют доверившимся – посреди мостовой, так что переброситься в следующий квартал – с провинциальной простотой, чуть явившись, нелепо.

Дневное кафе над улицей, но чем выше день, тем прочнее заходит – в ночной клуб, оба названы в честь чего-то, отложившегося от мира – толщей вод: «Титаник», «Атлантида»...

Осаженная шиповником площадь – в изголовье трехэтажный собор и проглотившая птицу над деревом колоколья с гудящей головой. Идущие к своему Создателю через площадь еще издали начинают кланяться ему.

Арка пионерского сада или парка – заужена на незнатных телом: долгоиграющих детей – или взрослых, чья плоть выдохнула удовольствия. Вступление с распущенным зонтом заказано, но с дождем – пожалуйста. Словом, ворота, в которые вынуждены входить – по одному. Пред садом – обязательный страж: нищий с гулливым оком, не пройдя ворота – в гурьбе поднятых ветром лохмотьев, а при сандалиях – пластмассовая бутылка с отстриженным горлом, уже вазон – не для капельных, но размашистых жертвований от идущих. По определению – *мимо*.

И уже с горы – аллея, пионерски алея сквозь бывший сад, дальше – парк, или наоборот. Мелькающие в деревьях дети в продленных позах бегунов, лучников и музыкантов. Окривевший фрагмент пути – вдоль игрушечного

пруда, где белая ротонда гоняет по маковке мутных вод – десять колонн, но мостик то ли улетел, то ли строили с воздуха или с воды – те, кому не обязательно топтаться на твердом...

Все описанные конструкции условно – одна сторона дороги, которой из пункта А в пункт Б вышел путник. Не исключено, что беспамятный сочинитель старался не опростить задачу, но смутился вообразить широко – и встроил картины возвращения в просветы поспешания к цели, консервативно помещаемой впереди.

И разве дорога – не риторический вопрос с оплаченным закатом? Пусть даже слагаемые умышленно перепутаны, кое-что заблокировано жанровой уличной сценой или на важном участке – распродажа костюмов в агрессивном стиле, указующим медленно взять себя на плечо... однако все места – налицо.

Однажды сестра позвонила брату на университетскую кафедру и просила его – быть из пункта А в пункт Б, то есть – к ней, дом немедленно по окончании парка, и чрезвычайный разговор – сразу над дорогой... Кстати, Сильвестр, и голос сестры вошел в таинственные значения, будет кто-то, о ком ты и думать забыл... а может, ты только и думал об этом, поворывая у речи все более влиятельные слова и навязчиво перестраивая порядок...

Брат своей сестры Сильвестр принял зов в середине жизни, и с ним – лес сумрачных колонн в окне и студента, почти потерянного на гуляющей стороне: не то в чреде скитальцев и привидений, не то в паре универсальной обуви – на любой ход сюжета, и успел отнести к нему два неурожайных вопроса. Счастье легко, авторитетно объявил Сильвестр сплюсненному прогулками собеседнику, если я не всегда могу наблюдать вас, то часто вижу чернозем, на котором вы выросли, и развязным росчерком зачел его – в развязных счастливых. Кто спорит, вы еще безнадежно возрыдаете, что мои семинары не стали для вас вторым домом и уже снесены с орбиты. Вот кровавая месть судьбы... ее рабочий момент, так напутствовал Сильвестр – нисходящего, и посмотрел свои очки на свет и нашел в них много света. Но сестра настаивает, продолжил он – собственным очкам, и разговор, и исполнители – исключительны, а я как раз из них. Или очков у меня – кот наплакал?

Исключительный брат Сильвестр, он же – строитель дороги, летописец ее или сочинитель, застал свое построение – в запоздалой трети весны, по торжественном оглашении Старой Победы, чьи улицы пересыпаны серебрянкой, бельмом, нафталином, и детали – в папиросной бумаге, хотя иные прикрыты условиями задачи. Ведущий уличный след – подковка: сережки от тополя, багрянец и клей под ногами, и подковки берез – детская зелень, и прочие сверху – рожок, коготок, янтарный мундштук. А деревья не так в одеждах ночи – в стигматах и шрамах, как уже – в орденских шнурках и звездах, точнее – в мошкаре запонок, медных кнопок и пуговиц, хотя натошак, животы под ребра. Пудры, гримы горящего антре, и резкость – на вербном помазке, на пуховках, перебрасывание от скулы к скуле, а все неотвердевшее – ментол и голубизна. Каковая пиромания и частота ее крыл подпускали Сильвестра – и к сожжению старых разговорных линий, и к возможности – подмахнуть.

Когда брат Сильвестр покидал университет, дневные занятия истекли, и быстрое течение, глухота и фронда сошли в колоннаду – освобожденные студенты в лохматой оснастке: бутоны наушников на кудрявом стебле, а к ним три серьги в одном ухе и очки с розовым и с синим солнцестоянием – то взлетев на лоб, то присев на цепочке на грудь, и по корпусу – рюкзаки и плееры, и подвешенные за мышинный хвост телефоны. Длинные дымы сигарет и всплески назначенных ветру волос, крашены в огонь и в горный серпантин. Объяснения и почти танцы, и посев на прямое обживание камня в подножье колонн.

Молодая толпа посвящалась бесчестьем меж самообороной и нападением, многосторонним флиртом и обзору чужих козней: звукоподражание Опыту, а гремющую по кассетам музыку – стиль *подвижки в металлоломе* – сбивали классические цитаты: пущены из телефонной стаи, наэлектризованы и исковерканы... На вздохи ложилась проклятая курсовая, увеличена – лишь названием... Где бы зажечься для научной работы? В стриптиз-баре?.. Странное послушание: переписывать чужую книгу, уже изданную и проданную... А монахи в скрипториях?.. Нельзя быть монахом меньше, чем я... Знаешь, каков у меня остаток от бесед с наставницей? Будто двигаешь шкаф многодетной семьи, забегаешь с той и с этой стороны, упираешься головой и конечностями. Но в лучшем случае удастся – подскрести угол! Шкаф – весом в ее кому. Говорят, ей слепили на юбилей: о возрасте женщин вспоминать не принято, достаточно сказать, что ее *разработками* восхищались еще наши деды и прадеды...

Молодая толпа философствовала: ведает ли художник о природе творчества и конечном продукте? Я решил победить на плакате против наркотиков – и намалевал лестницу ангелов, а мне вменили грязный подъезд в окурках, шприцах и дурных надписях... Кто-то кричал в телефон: ну, мама, я же уже в автобусе – на подъезде домой... и свободной рукой перекладывал из поглощенной заклепками куртки – в общее пиво.

А рядом, прикусив колесами нижнюю ступень и сам себя очерняя, притулился горбун-катафалк – транспорт безнадежности. Одиноким пассажир его держался задачи-минимум: молчать на самой нескромной планерке жизни – и задачи-максимум: скрыть себя из глаз богов и героев, ибо вряд ли был герой – но скромнейший вкладчик в общее дело, наша умеренная гордость, потому что не подняли в актовый зал, ни в нижний холл – всякому по мелочи его: этому – на вершок из кузова, и лишь четверка древних женщин встала пред узким красным фазтоном в черной оборке, где оцепенел напряженным молчанием к улице – калика перехожий с разбираемой сквозняком седой шевелюрой и серебряным лбом. И зацветет миндаль; и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы...

Дочь смежной науки Большая Мара нашлась пред Сильвестром – телом свехурочна, голова продрогла в циничной стрижке «мы из тифа», а крашенные ресницы сострижены с черной оборки на фазтоне.

Кто, кто это умер? – спрашивала Большая Мара. Вы его знаете? Я не видела... И, заслушав извлечения из молодых текстов, говорила: неужели в их годы я была столь же корноухой и насандаливала сленг?

Молодая толпа веселилась: наш декан подарил мне во сне билет на голливуд всех времен!.. В *его* сне или в *твоем*?.. Какая разница? Сидим на разных концах ряда, и на экран ему смотреть некогда – все оглядывается, нет ли где жены, или родственников жены, или соседей... Видит, вроде на лицах ни одной знакомой черты. И давай занудно меняться с каждым местом – подбираться ко мне. Наконец, пересадил весь ряд – перегрохотал всеми креслами, и тут мы бросаемся друг к другу в объятия, начинаем целоваться – и нам тем более наплевать на кино всех народов... Он хватается портфель, выбегаем из зала – и на выходе сталкиваемся с его опоздавшей женой...

Сзади говорили: а на третьей паре курения я подслушал жирный анекдот. Помер какой-то литпердун, рифмовал советские лозунги, а вдова гонит, что муж – столп мировой поэзии. И теперь подбирает каждый памперс, на котором великий забыл запястье... Ну пусть старушка развлекается... А если вернуть к тетке и за недурную сумму накропать биографию гения? Вот тебе и реализация грезы!..

Погребальная колесница, не притертая к близости молодого смеха, слущала – и отзывалась собачьим подвыванием темных стекол, всхрапом углов и зубной болью шурупов, молодые лица перелетало любопытство к чужому и дальнему сюжету – город, уже присутствующий в бинокле, но еще не настал въяве... и бежали притчи дня, и сладок был аромат здешней весны.

– Меня мутит от их дезориентации, – бормотала Большая Мара. – Он, наверное, кто-нибудь – из хозяйственных частей?

Древние плакальщицы уже входили в тополя – и растрясали пожелтевшие от старости, почти яичные слезки, а может, превращались в созвездие, и только крайняя – высокая и плоская плакальщица в черном газовом шарфе сверх бесцветных волос – иногда протягивала дрожащую руку, гладила серебряное чело новопилигрима и бормотала: почему, почему это слепое солнце не может в последний раз согреть ему лоб?..

Мара доставала сигарету из пещер жакета – желт, ядовит, и говорила Сильвестру:

– А товарищем мне опять будет дым. Я могу вас уведомить, что отправляюсь домой?

– Блаженствую с вами, – отвечал Сильвестр. – Много дыма из ничего.

– Сейчас всем отделом ликовали по отцу-основателю. Как не весна, нипочем не забудет переродиться. Чтение на разные голоса телеграмм, тосты с лицемерными образными сравнениями и графоманские рифмовки. А к ним алкоголь и приторные калории, проводники диабета. Наконец перешли к черному напитку, и, видя, что стол – большая зализанная рана, всякий в едунах звонил между делом домой или кому-то – и анонсировал радость своего скорого прибытия. Только мне некому было телефонировать и сделать счастливым.

– Ничего невозможного, – сказал Сильвестр. – Со следующего триумфа звоните мне и обрадуйте, что вы не заявитесь – ни сейчас, ни когда-либо вообще.

– Вчера радио и телевидение любезно оповестили, что центром праздника Победы была Москва, – сказала Большая Мара. – Мы, правда, тоже

силились поднять наше кое-что – до высокой драмы. Но нам не удалось вырваться в жизнь. Бытие – дымное шоу. Родина – суррогатная мать.

– Возможно, у нас настоящая смерть, – заметил брат Сильвестр.

Пока Большая Мара принимала взором погасший катафалк, ее сигарета тоже гасла – и товарищ дороги бежал от нее.

– Вокруг меня бродит зло, – бормотала Большая Мара, – ворует газеты, даже рекламный мусор, сняло дверной звонок и выцарапало глазок, замки барахлят, а краны бьют хвостом... и вновь бодро высекала огонь и возвращала спутника.

– Желтый цвет безнадежности... – произнес брат Сильвестр и заботливо ровнял на Большой Маре ядовитый ворот.

– Ни больше, ни глубже? А женщина в черном пальто, перешедшая Тверскую в компании желтых цветов и читательских миллионов?...

– В двадцать лет я был подвинут на край отчаянья... Конец света в отдельно взятой персоне. В памяти – последний миг: только что почти весна, но вдруг – метель, и такой крупный, снотворный снег – полчища птиц от хищника Хичкока...

– В небе этого города застряли только черные и серые птицы. Но тут вы видите – снежно-белую, и это уже нервирует... – сказала Большая Мара.

– Я сижу на полу пред окном в метель и курю. Шторы все связали в свою желтизну – старую «Спидолу» у меня на коленях, и крившую ее пыль, по которой выведено пальцем – завещание. И выперший из передатчика тоскливый саксофон... такой желтый. А в воздухе – висячие, ржавые сады дыма... Хотя не исключаю, что Элла Фицджералд дарила мне «Ночь в Тунисе»...

– А завещание, конечно, полная компиляция, – говорила Большая Мара.

– Но вдруг много лет спустя вам звонят и обещают, что стоит преодолеть жидкий сноп кварталов – и... И абсолютное страдание обезвредится...

Возле дома из двух половин, ведущих свой интерес – в пять и в семь этажей, брат Сильвестр равнялся с котом: масть – ночные оргии, глаз сценично заклеен слипшейся шерстью, ухо скошено, а на шее – белая вспышка или сорванная удушьем бабочка. Кот не глотал дорогу, но маневрировал и брезгливо выбирал в тополиной и березовой стружке, где выставить лапу, а может, то сам Князь Тьмы разрешил Сильвестру догнать себя.

Два учащихся средней ступени, один румян и упруг, второй – суставчат и удлиннен, меняли науки на труд и гуляли под стеной продуктовых композиций, вынашивая рыцарский доспех не с гербом, но с манящим посулом: «Мгновенное фото – на любой паспорт». И в рабочей скуке – от коляски с кока-колами и жвачками до павильона с выросшим на стену факелом – не грипп-паразит, но рожок крем-брюле – бодрили друг друга тумаком.

Двое иных, давно живущих, длили посреди улицы непреходный спор. Один был – воин-победитель, хотя тщедушен и в соломенной шляпе, подшившей и желтизну, и солому, зато не спешил отпустить вчерашний пиджак: ни подпоротых рукавов, ни впалого нотного стана Победы, где спеклись в коричневый аккорд звезда и медали, и шестнадцатые знаки других отличий,

и упирался в тряскую палку, она же – лыжная, с серым наручником по запястью воинственного, чтоб не бежал. Вторая победительница несла в себе зычное горло Фабричный Гудок – и стоячие, как графины в парткомах, глаза тридцатых и жесткие кожи – в складки не гнутся, но сразу ломаются на сгибах. Белые космы пролетарки равнялись горшку, гребни на затылке скруглены в рукояти, и согбенная спина слиплась в несколько кофт и в дух кислых баулов и закоулков, переложенных лоскутками с пуговицей от давно сношенных одежд...

– Только вам поблажки! – кричала Вторая, и большие деревянные бусы вспоминали у нее на шее тюремный перестук. – Только вы плати за квартиру – горсть песка, который из вас же и сыплется! А нам ни пузо набить не надо, ни одежкой прикрыться, ни внучке карамельку, все отдай родине за протекавшие хоромы и за то, что штукатурка с потолка валит мимо, а не на голову, как из голубя мира!

– Мы фронтовики! – гордо бросал задолбленный текст полустертый Один, и глаза его силились всплыть из топившей веко голубой слякоти.. – А вы в тылу гуляли, никаких вам геройских наград не положено! И пускай к пионерам вас не зовут, а то им еще наплетете с три короба!

– По шестнадцать часов у станка гуляли, он тебе кавалер, он тебе и насильник. Да без выходных! И попробуй опоздай к нему на пять минут... – выкрикивала Вторая собственный многолетний текст. – Заучил: «не положено»!

– На передовой! До Берлина! – не отступал полустертый Один, и голос его качался, и лыжная палка в руке натрясала почти походную дробь. – А в вас что, стреляли? Убивали вас? Руки-ноги отрывали? Я смотрю, у тебя и эта ножища на месте, и эта балетная где надо...

– Вся жизнь враскосяк, ни учения, ни другой земли, и зубы не покажи... Потому как и нет уже зубов! – выкрикивала подкисшая Вторая. – А ты сколько лет живешь, а все ни черта не понимаешь! Какие тебе сейчас пионеры? Откуда?

Чье-то окно раскрылось в раздольный пробег весны. Там тоже еще ублажали победителей, и ящичное радио проливало свидетельскую песнь, что по берлинской мостовой кони шли на водопой... Рамы перелицовывало на сторону, где дорожились пылью вышитых накидок и стульями с кошачьей спиной, чехлами и нарукавниками диванов, потрескиванием венцов иммортелей, толстозадymi масленками... И брат Сильвестр вдруг вспомнил, как на двухъярусной улице, теперь поднявшейся в паузы и подобия, за ним всегда гналось видение комнаты на весенних сумерках – полукруг медленно отходящего мраку стола, чета нагретых лиловым воздухом чашек и поднос с высокими металлическими ручками, с растрескавшимся стеклом, а ветер уносил в трещины и лепестки желто-синих цветков, и захлесты летящего над ними черного стебля... Рядом подстывала в продымленном орнаменте совсем темная шкатулка для пуговиц, с картинкой на крышке: женщина с узким трагическим лицом прижимала к себе золотоволосых детей – малыша в пышной блузе и гимназиста, сохранившего за столько времен – железную пуговицу груд-

ного кармана. За плечами троицы шли старинная овальная ночь и не город, но дальний лес.

Царственный синий бык – автомобиль «Мерседес» выбросился к берегу и сверкал племенным крупом. На заднем стекле загорала табличка: «Состояние идеальное. Обменяю на дензнаки». Дивная Европа сошла с быка и пустила ему надземный поцелуй, и выпрямилась, качая кинжальную линию и бедро. Дивная кипела энергией: плечи назад, талия зашелкнута в солдатский пояс и в серебристую надпись: «Don't touch!» – *не прикасаться*, шаг широк и высокие каблуки вонзает с визгом. Но подчеркивала в жизни брата Сильвестра краткость сущего – и пересекала тротуар, чтобы скрыться под аркой, оставив на две понюшки – сладких токов и тревоги о запертом ареале ее поцелуев. Арка во двор была атлетичная птица гриф и существовала в широком плане – до третьего этажа, и дом тоже проявлял себя под грифом запретного: строй телохранителей, в дальнейшем пилястры, над ними стеклянные ниши подъездов – ссылая колодцем ледяной рой облаков и гнушаясь снизойти до земли, а по карнизу третьего этажа катались пушечные шары. Двор откладывал на безобидное расстояние суховатость озимей в автомобильных покрывках – утеряны инопланетными транспортными гигантами, педантичное счисление турников и качелей, и футбольные поля золотых песков, входящих – в глотающие детей дюны.

Вступив в следующий квартал, брат Сильвестр отмечал, что этот утвержден на местности крайне непрочно: полуприжат баллонами с летучим – и торгующими и торгующимися, полуподвешен – на слепые леса, на шары, стартующие в кусте и в монофигуре *большое продажное сердце*, так что над головами прохожих парили их потрошки, на которых парились пикантные надписи – также из внутреннего, бесцензурного мира. Фигура должна располагать, замечал пеший – в обходивших Сильвестра с кофрами и бочонками объективов от редакций, ставленных – стена на стене. Но крайний шар был – божья коровка на черном брюхе, выгнавшая паучьи кущи усов и лап, эта полнила – танец живота. Увеличился спрос на усы и лапы, говорил пеший в черном вязаном колпаке и в наряде полузамкнутом или недоразоблачающем, возможно, пуговицы его как крайняя плоть одежд прошли обрезание, чтоб колпачный до последней изнанки посвятился улице. Кстати о лапе, толстяк. Сосед решил отвести от работы струйку гелия и надуть своим грудникам шар-гигант. Гелий мирволит коричневой таре, а мой хитроумный понес – в синей, чтоб не уязвить стражника. Месяц обдумывал, чертил план, запутывал цвета, крался, наконец, представил в дом, надул – и в ту же секунду шар лопнул... Пеший слушающий, объемов мучительных, был колышим влажным хохотом, и ворот у него на плечах глянцежел – наполирован отложными щеками. Добавь к сюжету, пыхтел он, что вахтер был дальтоник – и не видел концептуальной разницы между коричневым и синим.

Брат Сильвестр отводил взор долу и тут же провидел, как формируется эпизод трагедийный и даже аллегорический. Избегая кучной инфантерии и скрещенных корней весны, человек-возница с багровыми скулами, почти рикша, избирал колею на скате с мостовой в бахромы тротуара и вез лицом к

себе инвалидную коляску и в ней женщину, утаившую мертвые колени – под штормовой спецовкой. Преклонная калека не сводила с везущего расплывчатых глаз и улыбалась, показывая металлический зуб, оба странствовали вприглядку со сросшейся любовью и столь же былым доверием, а колесо, при хорошем развороте мелкое заднее, здесь – передовое, укрывшись от толкача и сиделицы, шалило на сторону, рассвобождалось на кривые окружности – и все ближе откатывало от коляски к крушению, о котором никто в компании не подозревал.

Узрев на пути аптеку, брат Сильвестр сошел со стези, и кто скрепится – не утолить терзания и афронты и не сомкнуть свои раны и все зудящее – ничтожной штукой и халатным глотком? Соблазняется и великий, и малый... В коих двух ипостасях сразу предшествовал входу – помраченный, защелкнув бомбу безумия – в недоросля, и поражал бурливым пальто, почти бесконечным в складках, и в расщепах и отворотах, и солнечным козырьком без днища, с этим соперничал – его далеко зашедший двукратный подбородок... Приаптечный мерно раскачивался – пред взошедшей в витрине красоткой в обнимку с доктором Момом, тело-Мом – плечистая бутылка, и на губах то и дело вскипало что-то нечленимое и негодное к заслушиванию.

Но слабость водит возмездие: брат Сильвестр отстал от дороги, никогда не встававшей, даже если кто-то справедливо считает: дорога протянута на почве его шагистики, от раздувшей ее идеи – до двери, по которой все пройденное – дым или скромное *ничто*. Всякий же брат Сильвестр упускает вечно идущую, пусть даже между ним и фармацевт-девицей за кассой поместилась недолгая дерматинная старуха, скорее – воробей, хоть каждая черта не проста, но почти дидактична и во всех изнурительных фразах шелестит учительское служение, как ровный свист, распределенный над беглой водой. Старуха тщательно диктовала фармацевт-девице просьбу – не обрушивать на нее панацеи в крупном пакете «Избавление», слепленном – необходимостью ей всегда и тем паче сегодня, но выплести два серебряные стручка, в каждом по десять волшебных бобов, итого... И молила об акте символическом и почти нематериальном: пресуществлении мелочи – в целого спасителя. Или, продолжал про себя брат Сильвестр, помахать ей лекарством – издали, да излечит светлым видом своим... Ничего мы не распаковываем, не меньше достойно отражала старуху фармацевт-девица. Или берете все, или уходим от кассы... Иными словами, ухожу ни с чем? – безнадежно уточняла старуха-воробей. А еще какими словами? – дивилась фармацевт-девица и не простаивала пред кассовыми отделами, но венчавшим перст синим лепестком разделяла шелкуны-полтинники – налево, рубли – направо, колобки-пять – прямо. А с чего бы мне ради вас портить упаковку?.. И ее глаза обращали вопрос – уже к Сильвестру. Но при многом желании она не вольна купить – все, разумеется, временно, признавалась не мама-Рома, но мама-воробей, и поучала географии и ее тропам: в трех шагах от города – пятница, практически анаграмма – *пенсии*, и не далее страстного света пенсии воробей тороваато выкупит остаток... А у меня еще вторник, и пятницы мне отсюда не видать! – парировала фармацевт-девица. Здесь был другой провизор, верно, я попадала

не в вашу смену, и старуха-воробей сообщала: миловидная женщина средних лет, чуть прихрамывала, знаменита – поощрением торговли щепотками. И подозревала, что воробьям держали одно распакованное лекарство, может быть, вы поищите его и найдете? Вы знаете, что провизор с латыни – *провидец*? Но на случай бездарного розыска спешила продиктовать, что посещает аптеку – регулярно, как интеллигентные люди – театр, вы тоже наверняка дождетесь – одну из ваших ревностных покупательниц, которой необходимо вскусить снадобье сегодня... Вот пусть средняя и дает, не дрогнув отвечала фармацевт-девица, а я не собираюсь ради неизвестно кого преступать инструкции.

Тем более я не соберусь поджидать вас, так почти усиливал ее речь брат Сильвестр. Деве прилично ждать поклонников, лучше – со средством передвижения... в крайнем случае – скейтбордистов, и общипывать тему любви или друзей темы, на худой конец у нас всегда желанные гости – деньги. То же и в пятницу – ждать не вашу пенсию, а ночную дискотеку, и субботний шейпинг и воскресный бассейн... Но к чему увиливать в голове недели, если можно ждать мужской лести, зова в ресторан и на долби-кино. И уже с утра близить тусовку или экскурсии по волчьим бутикам – и назначать себе стрелку в окруженных кондиционерами зеркалах и в завышенном *от-кутюре*! А не вышагнуть в этой добыче в жизнь – сегодня, можно отложить на завтра... Хотя и не получишь ни грязи, кто мешает наслаждаться ожиданием? Вы просите обрубить вашу боль, продолжал Сильвестр. Затушевывать ваше противостояние с лихом? А как это вами выстрадано?

Наконец, он получил из-под острых синих лепестков – ягоды забвения, попускающие уязвленному желудку забыть, что он есть, стирающие всю подпорченную фамилию внутренних органов – и возвращался к поприщу, брошенному у аптечной ступени. И успел к отливной волне: педагог воробьев, так и не собрав ни промелька снадобья, теперь подхватила под руку качавшего бурливое пальто помраченного – и утягивала его от витринной подружки доктора М. И кляузное сходство вдруг связало безумного и старуху, продавая Сильвестру, что этот плод снят – с тела ея, поздняя отрада – за служение многому знанию. Строившись в пару, большой безумец в пустом козырьке и маленькая воробей в пустых просьбах поплелись по улице прочь.

Был в близости от Сильвестра и некий идущий – в трехмесячных модах: в тулупе, крой – початок, фактура – кочки меха, плюс собственные меха – чернобурка под веко, на темени же дремал малахай и откладывал хвост на плечо прогреваемого. Встречный смотрел глухоманским оком – возможно, в чистоту снегов, откуда внезапно исчез, как кукурузник из радаров.

И опять брат Сильвестр не удержался на пути, и на сей раз тянулся – к забавам, состриженным с ветви, к щеголям отличной тропической подготовки, и уже угождал сладчайшими – сестре и кому-то, объявленному чрезвычайным... И опять обирала время старуха перед лотком. Эту седую подпушку обмишурила белая паутинка – легкомысленна и привязчива, а бреши дождливой экипировки тоже выдували из старухи подозрительный снег. Еще мах – и наряд вошел бы в свадебный... Брат Сильвестр зажмурился, отпуская

паутины лететь, но вновь возвращался к ужасной невесте, наверняка старейшей в роли. Старобрачная открыла лоточнице свою ладонь суше детской коробки с карандашами – на провалившийся шестой, и демонстрировала секретик: два неравных жетона – белый пятирублевый и желтогубый полтинник, и за оба железных мечтала получить яблоко. Пасынки рая падали на весы, не яблоки, но более клещи, и уступали – битому среднему, из самых тенелюбивых, но и те и это были – недоступное старухе богатство. Голос позади Сильвестра нетерпеливо кричал: да отдайте ей, я доплачу!.. Но старуха-невеста вдруг замкнула кулак карандашей и, не оглядываясь, постыдно рванула с места действия, тоже так ничего и не обретя...

Картина «Завтрак на траве» украшала подхваченную дорогу: три тинейджера – простерты на скамейке или на последнем дыхании, и прощальные капли пива и тел стекали на первые травы, где теснились бутылки – изумрудным именем «Хольстен», в повторении заходящим за реальность.

Новый квартал открывали столовские кастрюли: охалки гвоздик – молоко и пурпур, и, прибившись к кастрюлям, одинокая ваза – пустышка с певчим горлом ангинной ноты, а также две банки в белых чепцах, отстаивая сентиментальное варенье в давно прошедшем лете. При столовских седлала детский стульчик полнотелая блондинка в куртке от общества «Динамо», а на веслах рук ее неслышно плыл сквозь сны годовалый младенец. Блондинка укачивала его и не очень кухарничала с покупателями, но влюбленно смотрела на спящее дитя, лилию долин, и натянуто улыбалась невидимым подземным толчкам и правила на спящем пловце то изобильный берет, то полы кукольного пальтишка.

С колокольни над площадью размеренно низвергался колокол, разбивая чугунным наскоком – коробку площади. Толпа прихожан, встав на длинной соборной лестнице, застыла в сполохах механических шумов и хорового молчания, и лица были обращены к одной на всех тени.

Дальше шел парк или сад...

Дорога – не более алиби для заблудшего. Для брата Сильвестра, кто выдвинут из пункта А в пункт Б, но отчего-то не добрался – до чрезвычайного предстояния по skonчании срока и сада и не узнал, чем отличилась бы его участь в доме словесных находок. Но когда любопытные начнут докучать вышеизбранному, почему он не смог опознать дорогу и был ли где-нибудь в минуты беседы, ему придется отчитываться – центральными нитями, сшивающими потоки слов, и убедительными степенями пути, крепежным крюком пейзажа, златокудрой аркой в солнечный двор или заунывной погудкой. Наконец, начислить асимметричные и запоминающиеся лица. То, что не округлить, досочинить изломами и торцами... как и весь путь – от первого и до последнего шага, хотя мера *шаг*, пожалуй, даст солипсический намек, что дорога протянута – лишь через ощущения шагающего...

В самом деле, неужели дороги построены – не на словах, что и есть – собственными камнями, но из каких-то иных материалов?